



«Ангелическое» и «демоническое» в поэзии А.С. Пушкина

© Л. Н. КОПТЕВ,
кандидат искусствоведения

В статье рассматривается борьба «ангелического» и «демонического» в поэтическом творчестве А.С. Пушкина. Начавшись в ранней юности как столкновение языческого и христианского мировосприятия и завершившись в конце творческого пути очевидной победой божественно-ангелического начала, эта борьба находила отчетливое выражение в языке поэзии Пушкина.

Ключевые слова: поэзия Пушкина; «демоническое», «ангелическое», грех, смерть, вера, Бог.

Феномен противостояния «ангелического» и «демонического» начал в творчестве крупнейших русских поэтов – Блока, Есенина, Маяковского, Цветаевой – заслуживает отдельного изучения в каждом конкретном случае [1], поскольку полем трагического противоборства становится неповторимая душа поэта. Творчество Пушкина во всей его полноте также может быть понято только через его личность. Представляется несомненной приверженность поэта православию не только в виде знания церковных догматов, текстов Священного Писания и Священного Предания, а также Святоотеческой литературы, но и как глубинного

ощущения своей связанности с Богом, всегда остро переживаемой: от слабой связи в юные годы до укрепления ее по мере житейского и творческого взросления. При всей атеистической браваде уже с юных лет содержание глубинной жизни поэта направлялось тем, что в богословских текстах называют памятью смертной. В творчестве поэта обнаруживается нарастающее живое ощущение необходимости борьбы с грехами, которые Церковь называет смертными, ведущими к гибели души: гордости, сребролюбия, любодеяния (блуда), зависти, чревоугодия, гнева и праздности (лености). Наиболее поражало воображение поэта посмертное воздаяние, связанное со спасением или гибелью души.

Поэт всегда ощущал связь греховных побуждений с демоническими воздействиями. Эта тема вошла в творчество Пушкина очень рано – в 13–14 лет (еще до Лицея он перечитал множество французских романов из библиотеки отца и мог их цитировать) – и сразу в противопоставлении с темой святости, прочитываемой через борьбу с бесовскими соблазнами. В ранней поэме «Монах» он пишет: «Хочу воспеть, как дух нечистый ада / Оседлан был брадатым стариком; / Как овладел он черным клобуком, / Как он втокнул Монаха в грешных стадо» [2. Т. 3. С. 369]. Уже юный Пушкин признает мощь демонических воздействий: «...Ни один земли безвестный край / Нас защитит от дьявола не может» [Там же. С. 371].

В сознании юного Пушкина отсутствует мировоззренческая целостность. Он называет себя «христианин православный» [Т. 1. С. 433], но заявляет: «Попов я городских боюсь» [Там же. С. 285]. Он ощущает себя то «отшельником» [Там же. С. 491], «чернецом»: «Чернец я небогатый» [Там же. С. 231], то подобием фавна: «Суший бес в проказах / Сущая обезьяна лицом» [Там же. С. 266], а то и подобием Приапа, чей «лик уродливый» поставил он «с мольбой» в своем «смирненном огороде» [Там же. С. 455]. То он готов предпочесть «бессмертие» своих «творений» бессмертию «души» [Там же. С. 433], то грезит о спасении и вере: «Мы спасены лишь верой» [Там же. С. 327], и повторяет в «Послании Лиде»: «Твоей я святостью спасен» [Там же. С. 392].

Все ранние стихи, прославляющие радости жизни, любовную страсть, застольное веселье дружеской попойки, содержат отчетливое ощущение неизбежной смерти. Но это ощущение не трагично, более того: «И смерти мысль мила душе моей», – пишет он в 1820 году [Там же. С. 109]; «Перед собой кто смерти не видал, / Тот полного веселья не вкушал / И милых жен лобзаний не достоин» [Там же]. Развитие эта тема получит значительно позже: «Итак, – хвала тебе, Чума! / Нам не страшна могилы тьма... / И девы-розы пьем дыханье, – / Быть может... полное Чумы!» [Т. 4. С. 379].

Религиозно-нравственную оценку своей земной жизни «грешного поэта» он дает в иронической, вводе бы, «Исповеди бедного стихотворца»

[Т. 1. С. 274]. Но вполне всерьез читает на выпускном экзамене российский словесности в 1817 году полное горечи «Безверие» о том, «кто с первых лет / Безумно погасил отрадный сердцу свет» веры в Бога. «Лишенный всех опор, отпавший веры сын / Уж видит с ужасом, что в свете он один». Особенно остро им ощущается отпадение от Бога, «когда холодной тьмой объемя грозно нас, / Завесу вечности колеблет смертный час». Тогда «лишь вера в тишине отрадою своей / Живит унывший дух и сердца ожиданье». Неспособность преодолеть неверие, когда «ум ищет божества, а сердце не находит», страшит человека: он «в слезах отчаянья, в слезах ожесточенья / В молчанье ужаса, в безумстве исступленья, / Рыдает..». Но когда стремится убежать от себя, то «тайно вслед за ним немая скука бродит», и даже посещение храма не избавляет неверующего от тоски, напротив, – «там умножает он тоску души своей», поскольку «при гласе пастыря, при сладком хоров пенье / Тревожится его безверия мученье; / Он Бога тайного нигде, нигде не зрит, / С померкшею душой святыне предстоит».

Поэта остро волнует тайна «хладных врат могилы» посмертного бытия. Он мечтает «сокрушить» жизнь – «уродливый кумир», и «улететь» в страну «свободы, наслаждений, / В страну, где смерти нет... Где мысль одна плывет в небесной чистоте...». «Надежде» на такой исход земной жизни противостоит ум, который «упорствует, надежду презирает» [Т. 2. С. 12].

Источник презрения надежды – «какой-то злобный гений», который начал «тайно навещать» поэта еще в ранней юности, когда ему «были новы / Все впечатленья бытия». Этот «демон» «вливал» в юную душу «хладный яд». «Неистоимой клеветою / Он провиденье искушал; / Он звал прекрасное мечтою; / Он вдохновенье презирал; / Не верил он любви, свободе; / На жизнь насмешливо глядел, / И ничего во всей природе / Благословить он не хотел» [Там же. С. 13].

В 1823 году поэт признается, что его «лукавый демон возмутил, / И он мое существованье / С своим навек соединил». Именно его, демона, «взором» поэт «взглянул на мир» и изумился: «Ужели он казался мне / Столь величавым и прекрасным?».

Поэт томится «духовной жаждою». И в 1826 году переживает инициатическое воздействие, описанное в «Пророке», которое связывает с божественными, ангелическими силами. Изменения, произведенные серафимом с телом поэта – глазами, ушами, устами, сердцем – позволяют видеть и ощущать духовный мир на трех его уровнях: горнем («И внял я неба содроганье, / И горний ангелов полёт»), дольном («И дольной лозы прозябанье»), низшем («И гад морских подводный ход»). Поэт не видит себя превращенным ни в существо небесное, ни в демоническое, хотя вместо вырванного «грешного» языка ангел влагает в уста поэта «жало мудрыя змеи» – мифологически существа низшего мира. Но главное, –

поэт слышит воззвание к нему Бога – принять миссию пророка и назначение: «Глаголом жги сердца людей».

Инициация не произвела мгновенных и резких перемен в духовной жизни, но ощутимей стала разница между ангельским и демоническим: «В дверях эдема ангел нежный / Главой поникшею сиял, / А демон мрачный и мятежный / Над адской бездною летал». Этот «дух отрицанья, дух сомненья» уже смотрит на ангела невольным жаром «умиленья» [Т. 2. С. 174]. Умиление и благоговение у поэта по-прежнему вызывает совершенная красота женщины, уподобляющая ее божественному существу: «Исполнились мои желания. Творец / Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона, / Чистойшей прелести чистойший образец» [Там же. С. 296].

Жизнь раздваивается на «до» и «после». В груди поэта теперь горят «змеи сердечной угрызенья». Он испытывает раскаяние: И с отвращением читая жизнь мою / Я трепещу и проклиная, / И горько жалуюсь, и горько слезы лью...» [Там же. С. 206]. Поэт ставит перед собой вопрос, требующий ответа: «Жизнь, зачем ты мне дана?» И ответ не в пользу того, кто его «враждебной властью / Из ничтожества воззвал», кто «наполнил страстью» душу, ум «сомненьем взволновал». Ум поэта упорно ищет цель, смысл своего земного назначения: «Сердце пусто, празден ум, / И томит меня тоскою / Однозвучный жизни шум» [Там же. С. 208]. Свой путь теперь, в 1829 году, он понимает как восхождение из «ущелья» к «вольной вышине», там ему видится «далекий вожделенный брег»: «Туда б, сказав прости ущелью, / Подняться к вольной вышине! / Туда б, в заоблачную келью, / В соседство Бога скрыться мне» [Там же. С. 269]. И к моменту известной поэтической переклички между Филаретом, митрополитом Московским, и поэтом Александром Пушкиным по поводу опубликованного в 1830 году его стихотворения «Дар напрасный, дар случайный», Пушкин уже был готов к доверительному восприятию нелицеприятных слов Филарета, возлагавшего на самого поэта ответственность за потерю цели существования, поскольку сам он «своенравной властью / Зло из темных бездн воззвал, / Сам наполнил душу страстью, / Ум сомненьем взволновал» [2]. Прозвучавший в поэтической форме голос духовного пастыря, «глубокого богослова и вдохновенного проповедника» [Там же] вызвал в поэте взрыв мощных чувств: «Твоим огнем душа палима / Отвергла мрак земных сует, / И внемлет арфе Серафима / В священном ужасе поэт» [Там же. С. 287]. Возникающие переклички с Серафимом «Пророка» показывают, что поэт воспринимает голос Филарета как искомый знак свыше, указующий дальнейший путь.

Открылись печальные последствия той жизни, того «счастья»: «Счастье, счастье ухвачу» [Т. 1. С. 243], – к которому так стремился поэт в юные годы. Теперь – «безумных лет угасшее веселье / Мне тяжело,

как смутное похмелье» [Т. 2. С. 299]. Те, кого в лицейской юности он величал в стихах – «боги», теперь превратились в его глазах в «бесов» и «демонов»: «То были двух бесов изображенья. / Один (Дельфийский идол) лик молодой – / Был гневен, полон гордости ужасной... / Другой женообразный, сладострастный, / Сомнительный и лживый идеал – / Волшебный демон – лживый, но прекрасный» [Там же. С. 323]. И это об Аполлоне и Адонисе – столь частых персонажах его восторженных юношеских стихов. Меняется отношение и к винопитию. Восторги лицейских лет, воспевающие Вакха – «Да будет проклят дерзновенный, / Кто первый грешною рукой / ...Смесил вино с водой» [Т. 1. С. 287] – сменяются мудрым советом как бы себе преждему: «Юноша, скромно пируй, и шумную Вакхову влагу / С трезвой струёю воды, с мудрой беседой мешай» [Т. 2. С. 361]. Поэт вспоминает «свои утраченные годы», проведенные «в праздности, в неистовых пирах, / В безумстве гибельной свободы» [Там же. С. 701].

В 1834 году он сам отмечает происшедшие в нем изменения: «Дней моих поток, так долго мутный, / Теперь утих дремотою минутной / И отразил небесную лазурь» [Там же. С. 622]. В 1835 году поэта привлекает поэма Р. Соути, где в вольном переводе Пушкина излагаются мысли, сходные, видимо, с его собственными о близящейся кончине: «Я... страшуся и надеюсь, / Казни вечныя страшуся, / Милосердия надеюсь...». Герой поэмы уже смирился с неизбежным и возложил упования на Бога: «Успокой меня, Творец. / Но твоя да будет воля, / Не моя...» [Там же. С. 635].

Вообще период 1835–1836 годов стал для Пушкина мировоззренчески завершающим. Теперь он предстает в творчестве православным христианином, безоговорочно ищущим путь к спасению души. Остается в прошлом поиск компромисса – в соединении язычества и христианства, рая и ада, человека и беса. Исчезают сомнения, как исчезает «последняя туча рассеянной бури», еще несущаяся «по ясной лазури»; появляется уверенность, что сбудутся слова: «...Господь руке твоей / Даст победу над врагами, / А душе твоей покой» [Там же. С. 437]. Грешник наконец увидел «свет», «как от бельма избавленный слепец» [Там же. С. 442]. Его уже не так страшит смерть: он уже не «старый холостяк», вокруг которого «по-прежнему все пусто», его окружает «семья» – «племя младое, незнакомое», и его внук – он уверен – о нем «вспомынет».

Но путь христианина тяжел. И поэт, ясно осознавая греховность своей прошлой жизни, которую теперь он воспринимает, видимо, как полную блудодеяний, язвительных насмешек над оппонентами и гордыни, постоянно уязвляемой, просит у Бога помощи: «Дай мне зреть, о Боже, прегрешенья, / Да брат мой от меня не примет осужденья, / И дух смирения, терпения, любви / И целомудрия мне в сердце оживи» [Там же. С. 456]. На полях рукописи этого стихотворения Пушкин рисует

образ святого старца в келье с вырастающей за его спиной тенью. Похоже, поэт ощутимо чувствует эту черную тень греха и за своей спиной. Глубоко усваивая и перелагая в сердце своим великопостную молитву преподобного Ефрема Сирина «Господи и владыко живота моего...», он просит Господа об избежании духа «праздности», «любоначалия» и «празднословия» [Там же].

Тщетность усилий избавиться от греховности собственной природы «потрясает» поэта: «Напрасно я бегу к сионским высотам, / Грех алчный гонится за мною по пятам...» [Там же. С. 643]. Представляется ему грех подобным голодному льву, преследующему «пахучий бег оленя» [Там же]: «ревом яростным пустыню оглашая, / По ребрам бья хвостом и гриву потрясая» [Там же. С. 778].

Он подводит итог своей жизни. Давно, в 1828 году он задал вопрос: «Жизнь, зачем ты мне дана?! Иль зачем судьбою тайной / Ты на казнь осуждена?» [С. 208]. Ответ появляется в 1836 году: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Поэт теперь уверен: «Нет, весь я не умру – душа в заветной лире / Мой прах переживет и тленья убежит». Теперь он уверен, что его дар – это «велеенье Божье» и именно этому велеенью он просит быть «послушной» свою музу.

Литература

1. *Коптев Л.Н.* «Ангелическое» и «демоническое» в поэзии С. Есенина // Русская речь. 2012. № 4; *Коптев Л.Н.* «Ангелическое» и «демоническое» в поэзии А. Блока // Русская речь. 2013. №№ 2, 3; *Коптев Л.Н.* «Ангелическое» и «демоническое» в поэзии В.В. Маяковского // Русская речь. 2013. № 6; *Коптев Л.Н.* «Ангелическое» и «демоническое» в поэзии Марины Цветаевой // Русская речь. 2014. №№ 1, 2.
2. *Пушкин А.С.* Собр. соч. В 10 т. М., 1959–1962. Далее указ. только том и стр.
3. *Митрополит Анастасий (Грибановский).* Пушкин в его отношении к религии и Православной Церкви. [Эл. ресурс] Режим доступа <http://www.svkrest.ru/UserFiles/File/biblio/pushkin/pushkin03c.ht>

*Санкт-Петербургский государственный
экономический университет*